

Петр закрыл за мной ворота.

— Су-дье! — старательно, по слогам произнес он, переиначив иностранное слово на привычный лад, и требовательно уставился на меня в ожидании восхищенной гримасы — дескать, во дает, силен, собака, мать его! Смятения чувств я, прямо скажем, не испытывал, но исполнил свой мимический долг и аккуратно переместил ступню с тормоза на газ.

Здешний охранник не полиглот; сомневаюсь, честно говоря, что он осилил какой-нибудь иностранный язык хотя бы в рамках убогой школьной программы. Но его снедает благородная страсть коллекционера. Петр собирает, записывает и заучивает наизусть формулы прощания на разных языках. Чопорному литовскому «sudie» я сам его научил, блеснул эрудицией, а это было непросто, всякие там «гуд-бай», «ауфидерзейн», «адью», «чао», «аста ла виста» и даже «до видження» Петр узнал задолго до моего появления в этом дачном поселке, обитатели которого пересекают всевозможные государственные границы чаще, чем порог охраняемых Петром врат. Я оказался очень полезным

знакомством: старожилов и их гостей любознательный охранник давным-давно выпотрошил, а в его белом линованном блокноте осталось еще много чистых страниц.

Я вошел в его положение и взялся пополнять коллекцию. Благодаря мне в блокноте Петра появились татарское «сау булыгыз», эстонское «нягемисени», голландское «дуй», латышское «уз рэдзэшанос» и венгерское «висонтлаташа»; за зиму его коллекция украсилась узбекским «хаер саламат булсин», гэльским «дья дйт», грузинским «нахвамдис» и одиозным китайским «хуй цзиень», а я все не мог успокоиться, продолжал расспрашивать знакомых и открывать словари в книжных магазинах — в те редкие дни, когда выбирался в Москву.

Не то чтобы мне так уж нравился охранник Петр, скорее наоборот, у деда благодарность за безупречную службу в органах на лбу написана, а подобные надписи, скажем так, не совсем в моем вкусе. Но у меня страсть пополнять чужие коллекции. Как начал в пять лет таскать отцу все найденные на улице ключи, так до сих пор не могу остановиться.

Однако петровская эпоха в моей жизни закончилась; вряд ли я когда-нибудь сюда вернусь, разве что в гости к Пашке, любезно одолжившему мне свой белокаменный терем для сложной, но поучительной лабораторной работы на тему: «Сведет ли меня с ума зима в Подмоскowie?» Результат, на мой взгляд, вышел отрицательный; впрочем, со стороны, говорят, виднее. Ну вот и проверим, встреча с крупнейшими экспертами в этой области состоится не далее чем завтра.

— Са-ё-нара, Филипп Карлович, — пробасил мне вослед страж ворот.

Надо же.

Мне нравится Москва, но это совершенно не мешает люто ее ненавидеть. Она — враг, которому я сдаю одно сражение за другим. Все мегаполисы — пасти многоглавого Кроноса, а Москва — самая ненасытная из них. Она алчно пожирает мое время, а значит — меня самого. По большому счету, у человека нет ничего, кроме времени и способности осознавать его течение; впрочем, у подавляющего большинства способность эта изрядно притуплена, но меня миновала милосердная длань небесного анестезиолога, я постоянно, всем телом ощущаю, как течет через меня время, проливается через край, утекает. К этому я более-менее привык, вернее, научился *отвлекаться*, но в Москве время хлещет из меня как кровь из рваной раны, так стремительно, что только искренняя ненависть к агрессору помогает мне не удариться в панику.

Первым пунктом программы у меня значится Старомонетный переулок в Замоскворечье, одна из четырех квартир, купленных по случаю во времена моей персональной эпохи больших денег, бурной и непродолжительной. Теперь они обеспечивают мне безбедное и восхитительно бессмысленное существование. Я, кстати, еще в пятом классе, начитавшись романов из отцовской библиотеки, честно написал в сочинении, что, когда вырасту, хочу стать рантье. Это была моя первая двойка по литературе и третий, если не ошибаюсь, грандиозный скандал с участием завуча,

даже Карла вызвали в школу; он, впрочем, разочаровал педагогов, горячо одобрив мой выбор, хотя смеяться, конечно, мог бы и поменьше.

И чего, спрашивается, было шум поднимать, вышло-то все по-моему, как всегда — уж если я чего-нибудь захочу *по-настоящему*, так и будет, даже если ради этого придется изменить государственный строй на одной шестой части суши; мне бы теперь еще вспомнить, как это — хотеть *по-настоящему*. Давно уже ни хрена не получается, я и пробовать перестал.

Квартира в Старомонетном — самая маленькая и неустроенная, единственная, которую я не сдаю. Считается, что я здесь живу, на самом деле большую часть времени тут просто хранится барахло и пылится мертвая араукария, чья неуспокоенная душа, не сомневаюсь, гремит по ночам призрачными осколками глиняного горшка. Должна же быть в моей жизни хоть какая-то мистика.

Вот и сейчас я просто прибавил к куче хлама еще две сумки, извлеченные из багажника, даже проветривать помещение не стал — некогда, потом когда-нибудь или никогда, поживем — увидим.

Далее — Белорусский вокзал. Дорожный саквояж в камеру хранения, жетон с номером в карман, и бегом наверх, новый владелец моего «Фольксвагена» уже ждет, нахохлившись, под часами. Машину он осматривал третьего дня, остался доволен настолько, что почти утратил способность торговаться; всего-то хлопот — отдать ключи и заранее приготовленную генеральную доверенность, забрать деньги — минутное дело. Я всегда стараюсь избавиться от машины, если

уезжаю из города больше чем на месяц, а вернувшись, покупаю новую, практически первую попавшуюся, мне лень подолгу выбирать, и, по правде говоря, не имеет значения, на чем ездить, поначалу я в восторге от любого автомобиля, просто потому, что он новый, а через неделю надоест, мне быстро все надоест, и знал бы кто, как я сам себе надоел за тридцать лет и три года.

Из Замоскворечья пешком до Малой Дмитровки, эспрессо, еще один эспрессо, Пашка наконец явился, отдаю ключи, сославшись на дела, отказываюсь от предложения пообедать. Он классный, мутная рыба с добрейшим сердцем, он, как говорится, *настоящий друг*, точнее, редчайшая разновидность приятеля, готового, в случае чего, помочь делом, легко, на бегу, искренне полагая всякий свой великодушный поступок сущей ерундой, а единственной адекватной реакцией спасенного — разовую устную благодарность; словом, Пашка настоящее сокровище, но мне не о чем с ним говорить, и не только с ним. По идее, молчание должно было осточертеть мне за эту зиму, но я только начал входить во вкус, поэтому обедать буду один. Или вовсе не буду, жрать мне, кажется, тоже надоело, хотя время от времени хочется, конечно, но сам процесс — изо дня в день одно и то же, жевать, глотать, тьфу.

Теперь книжный магазин и еще один книжный магазин, Карл спохватился в последний момент, длинный виш-лист вчера прислал, всех его заказов я, конечно, не исполню, тут, по-хорошему, хотя бы неделя на поиски нужна, но примерно четверть списка

мне вполне по силам. Чашка кофе на бегу, потом еще одна — на этой стадии мне требуется не столько кофеин, сколько пауза, чтобы перевести дух, проглядеть купленные книги, покоситься на часы, вздрогнуть, выругаться, вскочить, шаря в карманах, и, не дожидаясь сдачи, убежать. До поезда всего пятьдесят минут, а мне еще предстоит долгая изматывающая поездка на Белорусский вокзал, целых, страшно сказать, две остановки на метро.

Сделал всего ничего, даже пожрать не успел, а шести часов моей жизни как не бывало — обычное дело, в Москве все так живут, вечно ни черта не успевают, кроме самого необходимого, да и то за счет сна; здесь, кажется, нет ни одного человека, который может позволить себе спать, сколько хочется, даже дети хронически недосыпают. Однажды жители этого города сойдут с ума от усталости, остается надеяться, что все в один день, так им будет проще освоиться, а я сюда — ни ногой, по крайней мере в ближайшие месяцы, а потом будь что будет.

Истекая временем, я рухнул на бархатное, синее с золотом покрывало и вознес привычную дорожную молитву: «Пожалуйста, Господи, никаких соседей, будь человеком, очень Тебя прошу». Окажись я сам на месте Бога, вряд ли потрудился бы исполнять капризы церковно не обработанного мизантропа, вспоминающего обо мне только перед отправлением очередного поезда дальнего следования, однако Он, в отличие от меня, не мелочен, молитва, как всегда, подействовала, в мое купе никто не вошел. А когда поезд потихоньку отполз от платформы, края рваной

раны стали затягиваться, время мое загустело и замедлило ход, так что при известном воображении вполне можно было представить, что его хватит еще очень, очень надолго, а может быть, даже *навсегда*. Прежде у меня это получалось, а теперь не очень, но надо стараться.

Проводница забрала билет, включила телевизор и, не дав мне опомниться, ушла. Бедняжка, надо думать, убеждена, будто включить телевизор — благодеяние такого масштаба, что мнения облагодетельствованного можно не спрашивать, кто же в здравом уме от своего счастья откажется? Считается, вероятно, что каждая минута, проведенная в тишине, — почти непереносимое мучение; возможно, это уже неопровержимо доказали британские ученые и увидели из космоса астронавты. Прежде пассажиры добирались до станции назначения истерзанные молчанием, едва живые от этой муки, а теперь наступил золотой век, еще немного, и конфискация телевизора останется единственным уголовным наказанием; впрочем, ООН быстро приравняет этот варварский метод к пыткам и искоренит повсеместно, можно не сомневаться.

Я бы мог еще долго исходить желчью, но наконец нашел тщательно замаскированную кнопку, выключил визгливую дрянь и, довольный собой, устался в окно. За окном мелькали подмосковные дачи, по большей части скромные деревянные курятники. Солидные дома вроде моего бывшего загородного убежища возле железнодорожного полотна не строят. Москва осталась позади, и черт с ней, я живу здесь только ради немыслимого счастья регулярно ее поки-

дать. Страшно подумать, какой кайф я словлю в тот день, когда наконец уеду из Москвы навсегда, того гляди сердце не выдержит. Оно и сейчас-то едва справляется, отвыкло за зиму от бурных положительных эмоций, поэтому придется посетить вонючий тамбур и испепелить там сигарету-другую, этот процесс чрезвычайно меня успокаивает.

Справедливости ради следует отметить, что в тамбуре, вопреки моим прогнозам, пахло не жжеными портянками — обычный аромат практически всех сортов сигарет, какие можно найти в широкой продаже, включая самые пафосные, они, честно говоря, даже хуже прочих — но медом и черносливом. В смысле великолепным трубочным табаком, на фоне которого даже я со своей благородной вишневой самокруткой буду тварью смердящей — непривычная позиция. На радостях я даже извинился:

— У меня хороший табак, но не трубочный, так что сейчас испорчу атмосферу, простите.

Обладатель трубки, чье лицо было почти полностью скрыто под длинным замшевым козырьком жockeyской кепки с наушниками, сперва снисходительно отмахнулся — дескать, делайте, что хотите, но потом вдруг уставился на меня с доброжелательным любопытством ученого-орнитолога, обнаружившего редкий экземпляр древесного гриба — вроде не по его специальности находка, а все равно интересно. И я тут же пожалел, что заговорил, дал ему повод ответить, теперь, вместо того чтобы спокойно покурить, придется поддерживать светскую беседу, кто меня за язык тянул, эх.

— Вам придется многому научиться, — внезапно сказал он. — А то совсем пропадете.

Его реплика меня развеселила, по крайней мере, такое начало совершенно не походило на традиционную болтовню попутчиков о погоде и ценах на спиртное в пунктах отправления и прибытия. Так что я не стал ограничиваться вежливым кивком, ответил по-человечески:

— Учиться я уже пробовал. Три незаконченных высших, скучное оказалось занятие. Но до сих пор вроде не пропал.

— Да я не о высшем образовании. Скорее о разных практических навыках. Очень хорошо, когда человек, *земную жизнь пройдя до половины*, умеет водить автобус, говорить, к примеру, на датском и чешском языках, фотографировать, просыпаться в тот момент, когда сочтет нужным, накладывать грим, взламывать замки и печь пироги... — начал обстоятельно объяснять обладатель трубки и капюшона. Но вдруг запнулся на полуслове и махнул рукой: — Ладно, не обращайтесь внимания. Сами разберетесь. По ходу дела.

Я собрался было ответить вежливо и снисходительно, дескать, спасибо за доверие, разберусь непременно — но мой попутчик уже отвернулся к окну и окружил себя такой плотной завесой табачного дыма, словно к цирковому фокусу с исчезновением приготовился; исчез он или просто отправился потом на свое место, неведомо, потому что я ушел раньше и больше его не видел — ни в тамбуре, ни в коридоре, ни за приоткрытыми дверями чужих купе, ни даже на платформе

в Вильнюсе, хотя это как раз легко объяснимо, он мог преспокойно выйти в Смоленске, Минске или на любой другой промежуточной станции.

Я люблю спать в поездах, но железнодорожное расписание редко согласуется с моим режимом дня. Эти негодяи так и норовят прибыть к месту назначения с утра пораньше и испортить мне все удовольствие. Поезд Москва — Вильнюс не исключение; в этом смысле он даже хуже прочих: заснуть мне удастся, в лучшем случае, около трех, а в половине шестого приходят белорусские пограничники, еще час спустя — литовские. С ними, впрочем, общается мой автопилот. Звезд с неба он не хватает, но показывать документы и приветливо говорить таможенникам волшебную формулу: «Только личные вещи» — обучен. Однако в семь проводница приносит горячайший в мире кофе, доверчивый автопилот пробует его, соблазнившись запахом, и вот тогда-то просыпаюсь я, такой злой и несчастный, что бедняге автопилоту страшно оставаться в одном купе с этим типом. Обычно он запирает меня в туалете, благо там всегда есть чем заняться — например, бритьем, с которым мой автопилот в одиночку, увы, не справляется, сколько его ни учи.

А ровно в семь сорок пять мы с автопилотом выходим на перрон. Я несу саквояж, а он бежит к банкомату за наличностью, я кормлю монетами кофейный автомат, а он оглядывается в поисках таксистов, я говорю: «Нет уж, пешком», — а он раздраженно фыркает: «Тогда справляйся сам, я умываю руки», — и по-

спешно прячется на одной из окраинных планет моего внутреннего космоса, еще не открытых моими внутренними астрономами. А я иду в город — пешком, с тяжеленным саквояжем в одной руке и теплым картонным стаканчиком в другой, оставляя за собой шлейф кофейного аромата.

С каждым шагом, по мере повышения уровня кофеина в крови, органическая жизнь кажется мне все более приемлемым занятием; минут через десять, выбрасывая пустую картонку в урну на улице Базилиону, я уже согласен считать бытие скорее удовольствием, чем тяжелой работой, и это правильно, потому что только в таком настроении можно входить в Старый Город через Врата Зари, под ликующий птичий гвалт, благодатным дождем изливающийся с небес. У самых ворот я всегда замедляю шаг, и тогда поднимается ветер, он бесцеремонно подталкивает меня в спину — дескать, давай, не мешкай, заходи. Я делаю шаг, другой и третий, ступаю под свод, и птичьи вопли превращаются в колокольный звон, выхлопные газы становятся ладаном и миррой, а кофеин в моей крови — качественным опиумом. Уверен, если бы у меня была с собой тыква, она бы непременно превратилась в карету, но я вечно забываю пройти мимо центрального рынка и купить экспериментальный образец.

Я вхожу в Старый Город — на заре, через Врата Зари, скулы мои пылают, глаза леденеют, а дыхание замирает. Я бесчувственное бревно; по крайней мере, это словосочетание столь часто звучало в мой адрес, что было бы глупо продолжать считать себя чувстви-

тельным куском мяса, но Вильна как-то сумела ухватить меня за сердце и с тех пор не отпускает. Рука ее ласкова, но тверда, поэтому лучше не трепыхаться; я, впрочем, даже рад, что так получилось. Приезжать в этот город — праздник, который я могу устраивать себе так часто, как пожелаю, поэтому вряд ли я когда-нибудь переберусь сюда окончательно, знаю ведь, каков будет итог: поселюсь в Старом Городе, стану дрыхнуть до полудня и раздражаться от необходимости выходить на запруженную туристами улицу; помаявшись, заведу новую зазнобу где-нибудь в радиусе тысячи километров от дома, а это чертовски глупо, лучше Вильны все равно ничего не придумаешь, поэтому следует оставить все как есть.

Апрель только начался, так что по пустынным верандам виленских кофеен гуляет ветер, а внутри нынче не курят — сами виноваты, потеряли роскошного клиента в моем лице, первая утренняя сигарета уже полчаса нетерпеливо ворочается в портсигаре, не хочу ее мучить. Поэтому «роскошный клиент» покупает очередной картонный стаканчик горькой бурды в первом попавшемся газетном киоске, размещает свое роскошное тело в роскошном пальто на сырой скамейке в чужом дворе и достает из одного кармана портсигар, из второго — зажигалку, а из третьего — телефон. Карл еще наверняка спит, поэтому звоню Ренате: приехал, иду пешком, не волнуйся. Господь с тобой, Фелечка, отвечает она, зачем бы мне волноваться? До сих пор не пропал без присмотра, а теперь уже захочешь — не пропадешь, большой мальчик, раньше надо было.

Рената кладет трубку, и я снова остаюсь один. Ну и дурень, пропасть — и то не сумел, балбес несчастный. В твои годы все приличные люди уже давным-давно без присмотра пропали, некоторые даже и по два раза, а ты? Стыдно должно быть, — говорю я себе, мой внутренний голос старательно копирует интонации Ренаты, которая через полчаса будет кормить меня завтраком, и если есть на свете счастье, то это — оно.

Но, да, только через полчаса, никак не раньше. Мой автопилот не напрасно порывался взять такси у вокзала. Карл живет на противоположном краю городского центра, на короткой, узкой улице, застроенной почти игрушечными трехэтажными домами. О ее название — Савицкё — можно оцарапать язык, но достаточно поглядеть по сторонам, и раны затянутся. Савицкё настолько не похожа на все остальные виленские улицы, что свернувший туда случайный прохожий обычно останавливается, словно бы упершись в невидимую стену, и растерянно оглядывается по сторонам: где я? В Вильне, где же еще, хотя улица Савицкё действительно кажется фрагментом захолустного немецкого городка, отстроенного где-нибудь на рубеже прошлого и позапрошлого веков; похоже, реальность в этом месте на миг отвлеклась, забылась, задумалась о чем-то своем и по рассеянности свернулась аккуратным тевтонским крендельком.

Посреди этого пряничного квартала Карл умудрился выкупить целый подъезд, от подвала до мансарды, увенчанной островерхой красной башенкой с флюгером. То есть сперва он купил квартиру с мансардой наверху, а потом соблазнил соседей снизу це-

ной вдвое выше тогдашней рыночной. Вовремя успел, нынче виленская недвижимость поднялась в цене, так что тех денег хватило бы, в лучшем случае, на флюгер. Впрочем, сослагательное наклонение совершенно неприменимо к Карлу, он все всегда делает вовремя, в самый подходящий момент, это не всегда очевидно в процессе, но какое-то время спустя непременно обнаруживается, что он опять угадал.

Меня самого считают феноменально везучим, но я-то знаю, мое хваленое везение — бледная тень Карловой удачи; впрочем, мне хватает, грех жаловаться, тем более что свой главный банк я сорвал еще в раннем детстве — заполучил лучшего в мире отца, единственный в своем роде, эксклюзивный экземпляр.

Наша с Карлом семейная история настолько сентиментальна и мелодраматична, что кажется сценарием мыльной оперы. Иметь такую биографию просто неприлично, один выход — никому никогда не рассказывать. Я, собственно, и не рассказываю, только однажды уборщице тете Саше, с которой мы прятались в подвале, когда горел наш пресненский офис, но тетя Саша — идеальная аудитория для истории о счастливом спасении сироты, ей — можно.

Началось все с того, что у Карла и моей мамы был роман, бурный и непродолжительный; потом она по уши влюбилась в заезжего артиста, а изгнанный из рая Карл уехал на первые в своей жизни гастроли и, таким образом, сам стал *заезжим артистом* для великого множества других девушек. Еще какое-то время спустя родился я; никаких воспоминаний о той поре у меня не сохранилось, но надо думать, мы с ма-